

БЕГЛЕЦ

Историческая повесть



СЕРГЕЙ БАГРОВ

Сергей Петрович Багров родился 8 января 1936 г. в Тотеме. Закончил Тотемский лесотехнический техникум, где учился вместе с Николаем Рубцовым, и Пермский госуниверситет. Уехал в юные годы из дома, сменил не менее десятка профессий. Жил в Подмоскowie, Алма-Ате, Ала-Тау, Перми. С Вологодой связана работа в редакциях областных газет и Доме народного творчества. Первую книгу рассказов выпустил в 39 лет. Много ездил, много ходил. Главными поставщиками сюжетов стали леспромхозовские поселки, райцентры, деревни и города Тотыма и Вологда. Книги свои издавал в Ленинграде, Архангельске, Вологде и Москве. Член Союза писателей России. Живет в Вологде.

«...Шемяка... пришел на Устюг в насадах, и устюжане против его щита не держали... и казнил Емельяна Лузского, да Миню Жугулева, да Давида Долгошеина, да Евфимья Еживина: метал их в Сухону... Еживин же, на дне сидя, изловчился и выплыл...»

(Архангельская летопись)

Голова у Ефимки крепкая, помнит все свои дни. Особенно те, когда уходил из зоримого Гледена, вынося на плече воеводу дочь. Конечно бы, он не ушел, кабы не синяя с бровью туча, свалившая вместе со снегом и темноту. Взял он красавицу в тереме воеводы, развалив топором долговязого вятича, когда тот, задыхаясь от похоти, повалил девицу на лавку и уже срывал с нее беличью шубку и сарафан.

Услышав топот по коридору, он, не мешкая, поднял несчастную с лавки и, спотыкаясь о труп, сунулся в голбец, дверцу которого тут же прикрыл, и, спустившись по темным ступенькам, оказался в подполье возле печного ряжа.

В глаза проблеснуло серпиком света. Слуховое окно! Подошел к нему, опустив девицу возле себя на холодный глиняный пол.

- Жива? - осторожно спросил.

- Жива, - услышал испуганный голос.

- Ты кто?

- Настасья.

- Как оказалась-то тут?

- Это мои палаты.

- Ты дочь Оболенского?

- Дочь.

Было слышно, как где-то над ними, визжа половицами, громыхали шаги. А с воли около терема проскрипели по снегу дворовые сани. И голоса:

- Куды его?

- Вверх, на башню!

Еживин увидел, как сани остановились и двое в толстых кафтанах конвойных взяли блеснувшего шлемом широкого человека. Настасья так вся и вытянулась к окну. И только-только не крикнула: «Тятя!», да помешала рука Ефимки, закрывшая девице рот.

- Услышат.

В оконце подвала не многое разглядишь. Лишь короткую часть двора с тремя фигурами удаляющихся людей да воя, закованного броней, который, вытянув меч, показывал к башне, куда вести плененного воеводу.

- Наверх его! Пригвоздите, чтоб видел весь город!

Голос был резкий, не допускавший непослушания. «Василий Юрьев, - узнал Еживин галицкого князька. - Коварный хорь. Давно ли пел Оболенскому: «Увожу свое войско. Но прежде

хочу пожать десницу твою! Абы ты не держал на меня свое храброе сердце!»

Оболенский поверил галицкому князьку. Махнул мечем, приказывая стоявшему в сторожах Ефимке открыть ворота.

Завередило в груди Ефимки. Чуял: ошибку делает воевода. Недруга впускает он в крепость. Однако ослушаться было нельзя. Снял затворное, в десять пудов тесаное бревно. Раздвинул ворота. И тут, ниоткуда возмись, облавная рать, рванувшая с ором на город.

Оболенский понял свою оплошность, когда в глазах его зарябило от надвигающихся кафтанов и перед ним стали падать гledenские мужи, смертельно насаженные на копыя. Двуручный меч из его десницы был выбит ударами палашей, и воеводу тут же швырнули в дворовые сани, за которыми шел, поблескивая броней, галицкий предводитель.

- И дурак же ты, Оболенский! Вроде бы не карась, а поверил кому? Хитрой щуке! - Василий Юрьевич улыбался. - Попал, как курица в ошип! Девять недель ты мучал меня с моим войском! А я тебе часу на муки не дам!

Молчал Оболенский. Действительно, дал он огромного маху. Девять недель защищал свою крепость. И уропу не нес. Напротив, многие галичане остались лежать на снегу, пораженные гledenскими стрелками. И вот оплошал, поверив коварному князю.

Еживин все это видел и слышал, и сердце его заливало досадой. Бежать на выручку к воеводе было уже нелепо. Как-то так получилось, что он хотя и не прятался, но оказался от всех и всего в стороне. Открыв ворота, он стал невидимым из-за ели, простиравшей свои широкие лапы от самой земли.

А галичане, смешавшись с вятскими воями, шли и шли. Кто в пешем разброде, кто в дровнях, кто верхом на коне. И тех, кто вставал у них на дороге, насаживали на копыя или рубили мечом. Рев насилия и погрома летел по городу, нарастая. Кто-то жаждал бесплатных мехов. Кто-то -

забористой медовухи. Кто-то - визжащей от ужаса гledenской женки.

Еживин сумел незаметно уйти от ворот. Обогнул бревенчатый дом. И второй обогнул. А в следующий, самый большой, в два этажа и с крышей, как шлем, где жил воевода, дабы не столкнуться с грабительской шайкой, ломавшей парадную дверь, проник со двора. В сенях, на березовой чурке увидел топор, которым рубят мерзлое мясо. Взял его и, пройдя коридором, свернул через полую дверь в людскую. Тут и увидел насильника. Тут и вскинул топор.

В пазы слухового оконца сочился с улицы холодок, донося запах мерзлой травы и снега.

- Как ты там? - Ефимко всмотрелся в чуть видимый силуэт дочери воеводы.

- Кресты кружатся в голове, - сказала Настасья.

- Ничего. Как-нибудь, - отмолвил Еживин.

- Ты не бросишь меня? - в голосе девы теплилась надежда.

- Лезем! - Еживин выставил раму, протиснулся по-пластунски к слепо мерцающему сугробу. Пособил и Настасье выползти из подполья.

Было еще светло. Шум осадников раздавался на дальних улицах, где добивали тех, кто не смог убежать или спрятаться от погони. Трещали заплоти и калитки. Звон и хряст вышибаемых рам. Неожиданно сверху, как с облака, голос князя:

- Прибивай!

Они подняли головы и увидели наискось от себя над бревнистой стеной в пышнотелых кафтанах трех палачей, державших копыями воеводу. Четвертый, взмахнув молотком, прицелисто стукнул по кованому гвоздю, прибивая ладонь Оболенского к башне. Застонал воевода.

Ефимко весь передернулся, ощущая в деснице несносную боль, словно гвоздь забивали не в Оболенского, а в него. И услышал шуршанье беличьей шубки, с каким оседала на снег Настасья. Он успел ее подхватить.

посадить себе на плечо и, пригнувшись, метнуться во двор. Оттуда, шаря глазами, выбрал дорогу по-за дворами и, проваливаясь в сумёты, пустился к обрыву реки.

Повалил густой снег. Настолько густой, что не видно стало и в трех шагах. Туча с бровью летела на город, как темная рать, и это было так кста-ти.

Уже за воротами Гледена, возле горелой сосны, за которой сбегал к реке снежный берег, Еживин остано-вился. Надо было унять дыхание, ко-торое он сорвал, слыша, как тяжело и обломно бухало сердце.

Поотдохнул - и к реке, безлюдной, гудящей и белой от грозно мчащего-ся бурана.

Шел Еживин, глотая с воздухом хлопья снега, моргал и с какой-то мужской скрытой нежностью осязал уставшим плечом живую поклажу. Ни словом, ни вздохом не подавала На-стасья признаков жизни.

Неожиданно вырос бык с четырь-мя суками на голове. «Сохатый, - при-знал Еживин, - тоже спасается, как и мы. От кого? И зачем прёт туда, где грабят и убивают?»

Лось отпрыгнул в сторону и про-пал, как пришелец другого мира. Ежи-вин походя поглядел на беличий во-ротник и мягкий вязаный полушалок. «Вроде живая. Вроде как дышит».

Он поднялся на левый берег. Зане-сенная снегом копна. Березовый ер-ник. Свист метели, и что-то тревож-ное в этом свисте, напоминающее вытьё. «Волчья стая, - смекнул Ефим-ко, - она и спугнула быка. Не хватало нам этой встречи.... Господи, сделай так, абы нам с вражатами не столк-нуться», - и похлопал по животу, где таился в чехле охотничий нож.

Отсюда до Устюга три с половиной версты. Ветер шел не от них, а на них. Оттого не учуяли волки поживы, и Ефимко понял: стычки не будет.

В Устюг вошли они не таясь. Ка-раульщик ворот Кузьма Водокрасов в медвежьем тулупе и шапке с разлапи-стыми ушами приходился Еживину свояком, потому и пустил их без лиш-них расспросов.

- Это чё, твоя жёнка? - Водокрасов помог Ефимке снять Настасью с пле-ча.

- После... После об этом, - сказал Еживин.

Настасью они занесли в холодную подклеть тайнишной башни. Здесь хранились конная упряжь, оружие и какие-то кадки, корчаги и бураки, от которых пахло ягодами и салом.

- Бежали от галичан? - спросил Кузьма, зажигая лучину.

- От галичан, от вятчан - в общем, от князя Василия Юрьева, кой в раз-бое, - ответил Ефимко.

Дальше не надо и объяснять. Кузь-ма был понятливым человеком. Сам бывал в таких переделках. Однажды тоже бежал из Устюга в Гледен, спа-саясь от татарвы, нагрянувшей ночью на город. Бежал с Марией, и жили они тогда в доме Еживиных две недели.

- Как сеструха моя? - осведомился Ефимко.

- Всё по ладу. Баба отпорная, на бас не возьмёшь, - ответил Кузьма и по-смотрел допытливо на Настасью, ле-жавшую на медвежьем тулупе, кото-рый он скинул с себя, постелив на скамью. - Красовитая. Кто она?

- Дочь воеводы.

- А сам воевода?

- Висит на стене.

Они сидели на лавке среди бура-ков и корчаг, оба громоздкие, больше-головые, с опущенными руками, точь-в-точь ратники после боя.

- Чё с ней? Не ранена? - Водокра-сов кивнул на Настасью, лежавшую как неживая с бледным лицом и рес-ницами, на которых блестел растаяв-ший снег.

- Видела, как убивали отца, - отве-тил Еживин, - страхом взята.

- Обереги ее Бог! - Кузьма поднят-ся, снял со стены нагольный с под-кладкой азам, натянул на себя. - Ты тут сиди. Я - по лошадь. Стоит под стеной. С санями. Сам до нас и све-зешь. Марья дома. А я задержусь. Сам понимаешь, служба. Бдеть тут и бдеть. Ворочусь поутру...

Метель уходила на север, и в теме-

ни улиц снег слепо кружился, падая на податливый круп гнедого коня. Ехать недалеко. Еживин направил гнедка к теремам. Оттуда - проулками кверху, где среди низкорослых жилищ таился красивый, с резными воротами, дом. Здесь и жили Кузьма с Марией.

Сестра у Ефимки быстрая, как стрела. И видом дородна. Впрочем, и сам Ефимко был из приметных. И всего-то ему девятнадцать, а был уже в славе тех разудалых детин, кто умел храбро драться мечом и копьем, а то и голыми кулаками. Детство провел он на вольном двуречье, где смыкались Сухона с Югом, и считался дивным пловцом, нырявшим на спор не только под лодки, но и широкие, в десять сажений, плоты, пугая опешивших плотогонов.

Мария не удивилась внезапным гостям. Открыла дверь и, увидев брата с подъехавшими санями, где лежала прикрытая кошмой юная дева, подторопила его занести ее в дом.

- Баская, - сказала Ефимке, едва он занес молодую в жильё. Занес и хотел уже было укласть на впритык к русской печке придвинутую лежанку, как Настасья открыла глубокие, в зыбкой тени от ресниц голубые глаза. Рассеянно улыбнулась и робко:

- Где это я?

- У своих! - сказала Мария и стала готовить стол, расставляя на нем домашнюю снедь.

Был конец января 1436 года. За окнами - стужа и ночь. А здесь, в невысоких хоромах, где стояли две лавки, плыли полати, а пол полосато светился половиками, было тепло. Настасья почувствовала в себе какую-то смелую перемену, словно до этой минуты жила она в мире ненастоящем, и вот в ее душу пахнуло чем-то свободным, и стало ей умирённо и хорошо.

Еда была самой простой - щи и соленая рыба. Был и кувшин с нежным пенником. Выпили, чтоб забылись все горести и печали и воскресла спокойная справная жизнь.

Настасья оттаивала, теплея. Мнилось, будто рядышком с ней сидели

близкие люди, заменившие ей родню. И когда Мария спросила:

- Как увидела я тебя с каким-то нетутошным личиком, так и пало на ум: отчего это всё?

Настасья открылась:

- Я в родимчике побывала. Гости-лась у смерти. Еле вызволилась оттуда.

Нежный голос ее как погладил Ефимку, и он стеснительно улыбнулся:

- Слава Богу, гоститься там тебе не надо. Тепере ты с нами. Как-нибудь уж уберём.

Ненавязчивый голос Ефимки был как тихая песня, да и сам он - большой, с молодым, как у мальчика, лбом, на который наехала русая чёлка, и улыбчивым ртом, переполненным сахарными зубами, показался ей добрым и милым. А Мария знай тараторила, как художник набрасывая портреты:

- Я, Настасьюшка, баба лихая! Ничего не боюсь! В девках была первая атаманша! Отроки наши меня за бесстрашицу и любили. Стаями провожали. Выбирай, кого хошь. А мне токо Кузя впондрав. Ой, бойкой! И владелый! Старатель и наживальщик! Ничего не упустит. Всё тащит в дом. Бедно с ним не жвали. Он и топерь у меня в могуте. Хоть медведь его и погрыз, а сильней его в Устюге нет. Никто с ним не сладит.

Перебивает ее Ефимко:

- А я?

- Ты - свояк. Ты не в счет. Да и молод еще! Не спеши выставлять моготу.

Мария глядит с лукавинкой на Настасью. И бровями, острыми и косыми, как взметнувшимися стрижами, показывает на брата:

- Он у нас храброваться горазд!

На какую-то долю секунды Настасья ушла куда-то в своё. Даже вздрогнула, точно ее возвратили в сегодняшний день, открывавший свою преисподнюю для нее, где она должна была стать опозоренной и несчастной, кабы не этот сидящий сейчас рядом с нею стесняющийся Ефимко. Такой здоровенный, а смиренный, подумала про себя.

- Храброваться, - сказала вслух и ослепла, застигнув глаза Ефимки, глядевшие на нее с таким ожиданием и любовью, что она, улыбаясь и плача, уткнулась лицом в его грудь, ощущая себя до радости защищенной.

Это после, двенадцать недель спустя, когда наступит весна и на Сухо-не, вереща и ломаясь, двинутся в сторону Гледена льдины, молодые с подробностью вспоминают метельную ночь, и Ефимко тяжелой, как ковшик, рукой накроет Настасьину голову и погладит ее, не веря тому, что к нему привалило такое счастье, и оба поймут, что отныне их повязала судьба и что быть им теперь только вместе.

Всю остатнюю зиму жили они под одной общей крышей. Две семьи, два крыла уютного дома, разделенного пологом из холстины.

Мария держала хозяйство - корову, лошадь и стайку овец. Для Настасьи, не знавшей в отцовских палатах вообще никакой работы, знакомство с живностью было в радость. Вдвоем и ходили они к скотине. Подоить, надавать соломы и сена, вывести лошадей, запрячь в сани-розвальни, съездить в лес, нарубить там берез и к потемкам вернуться домой с дровами - это все они делали вместе. Мария, как сильный мужик, управлялась с такими работами быстро и ловко. Настасья же - неуклюже, но со старанием и охоткой, и было ясно, что скоро она обучится этой обрядне и даже сможет вести хозяйство сама.

Кузьма был на должности - стражем ворот. Следил за Присухоньем, ровной долиной, что подходила к рытому рву, откуда могли показаться незнакомцы. Над крепостною стеной под тесовым навесом блесст медный колокол, извещающая в опасный для города час о врагах. Специального войска в Устюге не держали. Но в нужное время войско рождалось в считанные минуты. Посадские люди, строители, кузнецы, ремесленники, торговцы - словом, все горожане в час, когда раздавался набат, поднимались на сте-

ны, чтобы отбиться от наступленцев.

У Водокрасова в подклети башни хранились копыя, секиры, луки со стрелами, алебарды, дротики и мечи. Он на случай беды и Еживину выбрал палаш и дротик. А себе оставил колчан со стрелами, лук и тяжелый двуручный меч.

Считался Кузьма в своем городе лютым бойцом. Но в минувшем году по третьему снегу ходил на берегу. Медведь едва выбрался из коряг и поднялся, страша зверобоя, как тут и встречен был остро заточенными рогами.

И, конечно, Кузьма бы не оплошал, проколол бы рогатиною медведя, да сломались рога, и зверь, словно буря, бросился на него. И помял бы его, да добытчик успел сунуть руку в его разъяренную пасть. Пропихнул ее вглубь и держал, не давая медведю дышать, и хозяин коряжника сипло закашлял, осел на измолотый снег и подох.

Разумеется, руку, изжеванную медведем, Водокрасов пытался спасти, побывав пару раз у местной знахарки. Рваные раны зарубцевались, но была потеряна гибкость, и рука оказалась слабее другой. Потому и выбрал Кузьма меч с большим, для обеих ладоней крыжем, чтоб рубиться им в обе руки.

Водокрасов, как всякий хозяйственный муж, у кого было всё до мелочи на учете, был рад Ефимке прежде всего потому, что увидел в нем даровую рабочую силу. Он и лошадь выделил для него, чтоб Еживин свозил ко двору еловые бревна, которые были нарублены впрок и ждали, когда заберут их из леса.

До этого леса четыре версты. И Еживин делал в день по три ездки. Просторный двор Водокрасова становился похожим на склад, где торгуют строительным лесом.

А потом, когда вывез Ефимко все бревна, стал пилить их на пару с Кузьмой на высоком козловом станке. Продольные пильщики, что верховой, что низовой, были в высокой цене, и Кузьма экономил на этом изрядные деньги. Внизу было легче, и стоял там

обычно сам Водокрасов, а Ефимко вверху, поднимал за ручку пилу, и к вечеру плечи его становились тяжёлыми, будто бревна. И Кузьма уставал, в то же время был предвоенен. Его круглые, как у ястреба, всё и всех замечающие глаза вспыхивали азартом при виде свеженапиленных плах и досок, которые он по лету продаст и на деньги обзаведется господской каретой, ибо видел и ночью, и днем, как он едет по мостовой, и все отдают ему уважительные поклоны.

Деньги. Деньги. Они грели душу Кузьмы, волновали возможностью стать влиятельным человеком, кому подчиняются, угождают и с удовольствием смотрят в рот.

Гleden тоже манил его из-за денег. Потому иногда выбирался туда. Не один, а с Ефимкой. Пробирались туда, таясь, чтоб узнать: ушли или нет галичане. В прошлый раз напоролись на стражу. Двое рослых в стеганых доломанах вершника на конях застigli их возле купеческой лавки. Стражники оплошали, приняв их за нищих и стали весело забавляться: кто скорее подколет этих людешек копьем? А людешки, нарочно одетые в зипуны, оказались не только увертливы, но еще и ловки. Поймали концы острых копий, дернули на себя, и вершники оказались внизу, под копытами лошадей.

Так и остались лежать посередке улицы на снегу, оба с копытами в горле. А лошади были захвачены как трофеи и шли рысцой из Гледена в Устюг. Шли, чтоб ночами стоять на конном дворе, а днями возить для Кузьмы из недалекого ельника бревна.

Кроме коней прихватил Водокрасов и кошельки. Еживину было неловко смотреть, как Кузьма на коленках вставал на тела убитых и обшаривал их карманы. Не выдержав, он одернул его:

- Не марайсё, Кузьма!

Но Кузьма в его сторону даже не посмотрел. Лишь сказал:

- Дурак, что ли, я оставлять такое добро?! Не я, дак другие его прихватят...

Иногда, подменяя Кузьму, Ефимко

стоял в карауле ворот. Здесь он тоже почувствовал в нем корыстного человека. Убедился он в этом в Пасху, когда по рыхлому, в талых проплешинах снегу к воротам на паре гнedyх подъехал одетый в бобровую шапку и пышный шубняк торговец с Задворья.

- Чего везешь? - спросил у него Еживин до того, как его пропустить.

Купец выбрался из саней.

- Был заказец от писаря воеводы на десять пудов говяжьего мяса.

- И что за мясо?

Торговец начал перечислять:

- Оковалка, толстый филей, огузок, середина бедра...

- Ладно, - Ефимко открыл ворота и подивился, когда возница, заехав в город, остановил лошадей и, выбрав с возу груженный мешок, передал его ему в руки.

- Это чего? - недопонял Ефимко.

- Подарок! - высветился в улыбке хозяин саней.

- Кому?

- Да тебе!

- За що?

- За то, що препятствий не чинишь!

- Не понимаю...

- А що понимать. Бери! Или Кузьме своему передай. Уж кто-кто, а он отказываться не будет.

Куль с кусками мерзлого мяса Еживин занес в холодную подклеть, опустив его на пол, где хранилось всяческое добро: солонина, говяжьи головы, брусница и клюква, шубы, поддевки, катаники, азямы. Понял Ефимко, что это и есть поборы, какие берет Водокрасов от тех, кто въезжает в ворота с иногородья.

В тот же вечер только-только Кузьма подъехал, чтоб принять у Еживина сторожку, он его и спросил, показав на провизию и одежду:

- Это що у тебя? Дармовое добро? Для кого, интересно, копишь?

- Для тебя! - отрезал Кузьма. - Для Настасьи твоей! Вы кто у меня? Дармoeды! Вот и кормлю я вас этим добром! И одежду отсюда для вас справляю!

Ефимко смутился. Стало стыдно ему, в то же время и гадко, словно в

этоих корыстных поборах был замешан и он. А Кузьма и суровость еще напустил. Поглядеть на него - сама справедливость. Но это Ефимку не удержало. Посмотрел на Кузьму как на вора и с брезгливостью в голосе:

- Добро-то чужое! Не тобой зароботано и не мной! А ты его - хап!

Обозлился Кузьма. Глаза на просторном его лице изжелта потемнели и сделались узкими, как у монгола.

- Ты для меня не указчик! Так и отметь своими махонькими мозгами - ничего в этой подклети ты не видел! И вообще не лезь не в своё!

Еживин в этот же день уговорил Настасью покинуть Устюг. Мария пыталась их было остановить:

- Как за реку-то переберетесь? Лед еще не прошел. Попадете под застрегу! Поманите пару деньков.

Не послушались молодые.

Перевез их на лодке сосед Водокрасовых малый Ондрюшка Лузсков. Знал Ефимко его как забавника-балагура, умевшего крякать, как утка, щёлкать, как соловей, и петь, как петух.

Вылезая из лодки, Ефимко с Настасьей долго махали Лузскову руками и рассмеялись, когда малорослый Ондрюшка, отставив весла, состроил руками рупор и звонко прокукарекал.

Для чего это он? Поди-ко, хотел подбодрить молодых, уходивших в разграбленный город, где одному только Богу известно, как еще там у них сложится жизнь.

Гleden выглядел нежилым. Двери, сорванные с петель. Разбитые окна. Крыши, в которых ветер перебирал шелестящую дрань.словно вымороченной рукой прикоснулся к городу разоритель, и жизнь покинула все дома.

На южной улице, где зияли в стене проломы и чернел труп сгоревшего теремка, повстречалась старуха в собачьей, без ворота шубе, подпоясанная веревкой.

- Бабуся! - окликнул ее Ефимко. - Народ-то куда подевался?

- Спрятался от медведей, - ответила та и ткнула пальцем в сторону

пепелища, - воно-ко оба. Человечину ищут. Тут ее много наоставалось. Ее и едят...

Ефимко сунул руку в колчан, доставая оттуда лук. Натянул тетиву - и стрела полетела на пепелище.

- Сгиньте, адовы трупоеды...

Дом, где жил воевода с семьей, был пустынен и тих. Паутина. Разбитая мебель. По-ненужному громко стучали шаги. Ощущалась настороженность, словно кто-то кого-то здесь ждал. Обошли людскую, кухню, горницу, все палаты.

- Неужели я тут жила? - ужаснулась Настасья. - И тятя тут жил... И мама...

При слове «мама» она закрыла лицо руками, и плечи ее затряслись. Ей представился тот жутковатый морозный день, когда ее мать, словно месть, терпеливо ходила по улицам Гледена, абы только встретить убийцу мужа. И ведь встретила. Князь Василий позволил ей посмотреть на себя. Позволил и выговорить ему: «Я - жена казненного воеводы. А казнил его ты, хитрован и палач!»

Больше он ей ничего не позволил. Выхватил меч и, взмахнув, завершил разговор.

Об этом узнала Настасья от гledenских бабок, когда те еще ранней весной приходили в Устюг за провиантом и рассказали ей эту угрюмую весть.

Выходя из терема на крыльцо, Настасья сказала:

- Не пожить нам, Ефимушко, тут...

Решили пойти в слободу. Дом Ефимки, если сравнить с хоромами воеводы, был настолько низок и мал, что казался ненастоящим. Стоял он на берегу реки Юг. Оконца с бычьими пузырями были целы. Цела и русская печь. Но больше здесь не было ничего. Все растащено. И матери не было. И отца. Прибежавшая из соседнего домика хроменькая, с горбом бабка Павла поведала молодым:

- В слободе у нас, как в пустыне. Считай, никого. Я да кузнец Филимон. Остальные еще по зиме бежали. Спасались от варваров, кто где мог. Многих в дороге поубивали. А про тво-

их, Ефимушка, мамку с отцом и сказать ничего не могу. В лес убегли. Обратно не возвращались...

На душе было муторно, но Еживин не подал виду, что опечален.

- Ничего, - взворошил на лбу непокорную челку волос, - где наша не пропадала.

Первым делом они наломали вересника, подожгли его, обкурили весь дом, выгоняя стоялый воздух. И... начали жить.

Настасья хозяйничала по дому. Ефимко исследовал ближний сузем, стреляя из лука по глухарям. Однажды спустился в долину Юга, где в буреломнике встретил обросшую шерстью свинью, метнувшуюся к нему из-под выскорня-пня. Он еле успел отскочить от ее смертоносных клыков и вонзил под загривок палащ, с которым та убежала в седые заросли камыша, и он шел по кровавому следу весь день, пока свинья не споткнулась и не свалилась, зарываясь рылом в испревший еловый опад.

Тушу свиньи он принес в слободу за два раза. Поделится мясом с бабушкой Павлой и Филимоном, поджарым, лет сорока кузнецом, ходившим по слободе в прожженном на рукавах полосатом татарском халате. Филимон в тот же день отдал молодому пилу и топор, а Павла - горшок и корчагу.

Вот так сама по себе, когда наступала поруха, русских людей спасала взаимная доброта. На ней и стояла надежность славянской породы. Чувство выгоды уступало чувству привета, и тот, кто терял, от этого не беднел.

Еживин себя ощущал богачом. Рядом - лес и река, вольный воздух, участливые соседи и, как птичка весенняя, жизнерадостная жена.

Вскоре они занялись огородом. Посеяли репу и рожь.

Вечерами из свеженарезанных лоз плели рыболовные снасти. Река играла от множества рыб. В ее перекатах, на быстрине, меж камней ставили ивовые ловушки, в которые попадали щука и лещ. А к лету начали строить амбар и баню.

Слобода, как и все ближайшие де-

ревеньки, стала залечивать раны, нанесенные пришлым врагом. И Гледен, страхнув с себя пепел пожара, начал уверенно возрождаться. Что ни день, то Сухона доставляла на гledenский берег семейных людей, кто когда-то отсюда бежал и вот возвращался. Повсюду слышался говор плотничьих инструментов.

Никогда Еживину не было так отраднo. Какое бы дело он ни справлял, всюду ловил на себе поглядки Настасьи. Та следила за каждым его движением, жадно присматриваясь к тому, что он делал, чтобы потом и самой сделать то, что делает муж. И ведь многое ей удавалось. Месяца не прошло, а она уже метко стреляет из лука, попадая даже в летящих рябков. И морду в протоке кипящего Юга ставит сама. Сама же из этой ловушки и рыбыны выбирает.

Год спустя у них появился малыш. Назвали его Антошей. К этой поре, как и многие гledenцы, они уже обжились. Завели корову, бычка и лошадь. И землицы прирезали к огороду, отвоевав ее у черемуховой низины, пройдясь по ней топором и огнем. Построили теплый бревник, чтобы было где зимовать домашней скотине. И подряд у города взяли - заготовлять и возить для крепости лес.

Настасья сама удивлялась своей ненасытной охотке к грубой работе. Насколько помнит себя, за восемнадцать девичьих лет ничего делать ей не давали, холили и тешили, берегли от всего, что могло бы ее огрубить, испачкать и опечалить. Росла она без подруг и уличных развлечений, точь-в-точь затворница светлых палат, откуда могла была вырваться в мир только с мужем, которого ей выбирали из тех досточтимых кругов, где в цене были знатность и родовитость.

И вот она мужняя жена. Ефимко ее из простого народа. Нет у него ни чина, ни сана. Но есть то незримое, не затолканное веками особое древнее благородство, с каким защищают женщину и ребенка. Настасья не может забыть тот холодный январский

день, когда осквернитель, как зверь, набросился на нее, срывая одежду, и она, обмертвев, приготовилась было пройти сквозь позор, как вдруг этот блеск топора, перерубленный череп, падение тела и низко склоненное к ней молодое лицо, выражавшее беспощадность и тут же - смущение и испуг.

Ефимко спас ее и от тех нечестивцев, которые рыскали по палатам в поисках денег, наживы и женщин. Потому скрежетнувшая в петлях парадная дверь, торопливые, как при погоне, шаги и звучали в ее ушах как погибель. О, как смиренно она замерла, когда Еживин, подняв ее, как перо, бросился с ней в черноту домового подполья, и она сквозь растерянность, дрожь и испуг ощутила себя живой. Но живой до той лишь секунды, когда увидела тятю, висящего на стене, без кольчуги, в железной мисюрке на скорбно опущенной голове, с распытой рукой, из которой торчал забиваемый стражником кованый гвоздь.

Она забыла себя, потеряв малейшее представление, что происходит кругом и с ней. Видимо, это было дно жизни, откуда не поднимаются на поверхность. Но она поднялась, потому что с ней рядом был мужественный Ефимко. Не забудет она и того недавнего дня, когда они возвращались из Устюга в Гледен и при виде разграбленного жилища, где предстояло им жить, готовы были уйти в уныние, однако Ефимко собрался с душой, заставил себя улыбнуться и даже невесело пошутить:

- Была б голова да на все штуки - руки!

И обнял ее.

И она приобмякла, на шутку ответила шуткой:

- Тяжелей ведь медведя! Не висни!

А он аккуратно накрыл ее голову крупной своей ладонью, под которой она ощутила себя как под крышей, и мягко сказал:

- Гли-ко! Опять-то ты вся у меня пристеснялась!

Вот так и пошли у них дни. Без тоски и печали, вглядываясь в своё, они сознавали, что в жизни бывает не

только мятка, но и спокойная тихая благодать.

Из высокой осины, стоявшей на том берегу бурливого Юга, Еживин начал выдалбливать лодку. Неделю долбил, а потом заливал горячей смолой. Успел поставить долбленку в реку до июльского сенокоса. Опробовали втроем. В веслах - Настасья, Ефимко - в корме, а на середке долбленки, в охапке мягкого сена - полуторалетний сыночек.

Солнышко. Синяя спинка реки. Упавшие с берега в воду тени горбатых ольшин. Всплеск воды над веслом.

Еживин показывает на берег:

- Эко ты! Зайко уселся под вересницу. Глянь-ко, Антоша!

Антоша в льняной оболочке, русоволосый, с острыми глазками - право, речной воробей.

- Гу! Гу! - отвечает отцу и наклоняется так, что вот-вот перевиснет в реку.

- А вон и другой! - смеется Настасья. - Вон, в маловодье! Булькает лапками! Охти мне! Воду лакает! Видишь, Антоша? Буль-буль!

Антоша, понятно, не видит, но отвечает:

- Бу! Бу!

Лодка обкатана. Славно! Ни капли воды не попало.

На берегу, приняв с рук Настасьи легкого, как воробышко крылышко, сына, Ефимко хозяйственно сообщает:

- Вересовый кол да осинова жердь - сто лет простоят в огороже. Завтре на лодке их и приплаваю.

- А я веников наломаю, - таким же хозяйственным голосом и Настасья. - Для бани! Будем Антошеньку парить. Абы набирался здоровья и сил. Пусть растет великушим, как тятя!

Настасья смеется, в подскулях лица ее выются веселые ямки, зубы блестят, пробежавший рекой легкий луч порхает по россыпи светлых волос, точно гладит красавицу, поощряя и голос ее, и смех, и всё то, что она сейчас говорит.

Утром чуть свет Еживин уже на реке. Ловит рыбу крючками, которых

наковал ему Филимон. Ловит на быстрере. Рядом - плетеная ивовая корзина. В ней - десяток лешей.

Слышно, как по траве подступают шаги. Настасья! Ефимко справляется:

- Антоша-то там один. Ничего?

- У него на заре, - отвечает Настасья, - сон, как яма. Не выберется оттоль. - Тут она притрагивается рукой до скуластой щеки супруга. - Ой! Ефимко! Это чего у тебя: как буздырь?

Усмехается рыболов:

- Оса цикнула по лицу.

Спокойно и росно на косогоре. Река от скользких по ней волоконцев тумана - зыбкая и седая.

На западе, где слободка, по-над берегом, как картинки, аккуратно подправленные дома. Самый крайний из них, с охлупнем и крутой головой коня, - дом Ежिवиных, весь в древесных узорах и полотенцах, с огородом, хлевом, коровьим загонем и баней.

Шагах в ста от слободки на границе двух рек громоздятся бревнистые стены детинца, а за ними - часовенки, храмы и терема.

Солнце выше и выше. И вот уже блещут чешуйки осиновых крыш, и вода в темных рвах из пепельно-тусклой становится алой, и плывущая в ней строчка уток так и вспыхивает пером.

С юга, где хвойное побережье, пробежало нервное эхо. Трава как прижалась, и вскоре из ельника, как тараканы, выползли темненькие фигурки. «Конница», - понял Еживин и побледнел.

- Живо в лодку! - велел Настасье. - Забирай Антошу - и в Устюг!

- Как? - испугалась она.

- Вятичи или татары! Идут на нас с боем! Скорей!

- А ты?

- Я - туда! - показал на детинец.

Провожать семейку было уже недосуг. Настасья с еще не проснувшимся сыном бежала к реке. Эхо топота быстрых копыт приближалось, как летний ливень. Еживин отпер ворота и хлев, выпуская на волю быка и корову. Сам вскочил на сивого в яблоках пошатнувшегося под ним молодого коня.

Где-то блеяли овцы. Из зеленых

рябин на кауром, пригнувшись, вылетел вершник. Ефимко узнал кузнеца Филимона.

«Авось и успеем!» - Еживин моргнул, разглядев пролетевшую возле щеки стрелу. А потом - и вторую. И третью. Целое сеево стрел. Одна из них все же вкололась чуть выше шеи, но кость не пробила, и он доскакал до крепости целым. А Филимону не повезло. Уже за воротами крепости, обернувшись, Ефимко увидел, как кузнеца достала стрела, и он, как ныряя, грудью грохнулся о дорогу.

Гледен был застигнут врасплох. Перед стенами крепости - горстка людей. И все с опущенными мечами, точно ждали богатыря, кто весь бой возьмет на себя, и тогда что-то может перемениться.

Не слезая с коня, Ефимко из рук молодого, в лаптях, с крестом на груди расторопного стража ворот принял копьё. Развернувшись, спросил:

- Где воевода?

- Не знатко, - ответили за спиной.

Он и несколько горожан кто верхом, кто пешком бросились за ворота, на подходе к которым висел над копаным рвом бревенчатый мост. И сбились с летевшими на аргамаках конниками незванцев.

Была суматоха и свалка. Ефимко ударил копьём в переднего вершника в глухо застегнутом доломане. И тот, не успев ответить ему на удар, громоздко рухнул с конем под мост. Кто-то еще свалился, да так, что брызги воды окропили Ефимку.

Наступавшие развернули коней. И защитники развернули. Была минута нечаянной передышки. Кто-то спросил:

- Кто они?

Кто-то ответил:

- Поганцы из Вятки.

Через пару минут, как волна, покатила на Гледен главная сила, впереди которой свистели горящие стрелы.

Тут и там загорались от стрел древесные крыши. Кто-то маленький, с жидкой, как у Батыя, бородкой сунулся было с хоругвью к мосту. Но сразу же был затоптан десятком коней.

Еживин потерянно оглянулся. Из

тех, кто был в вылазке, - никого. Куда подевались? Неужто попрятались по дворам?

Вятские вершники точно в таких, как у гledenцев, летних кафтанах, вломившись в ворота, рванули не прямо, где прят ушами сивый в яблоках конь, а на нем восседал готовый к отпору Еживин, а вправо, по переулку, наверно, увидев сбежавших от них безоружных людей, и решили себя потешить в погоне.

Ефимко мешкать не стал. Дернул уздечкой, и конь поскакал по западной улице к стыку двух стен, под которыми мирно несли свои воды Сухоны с Югом.

Возле терема воеводы сивый резко осел, и Еживин, ломая копые, свалился пластом на дорогу.

В животе молодого коня чадила обвитая паклей стрела. Рядом, где боковой переулок, просыпалась дробь торопливых копыт. Ефимко понял свою обреченность. Бежать было некуда. И зачем?

Он устало поднялся, сделал пару шагов.

- Голодырь! - услышал свирепый оклик.

Он обернулся. Прямо над ним высался с саблей в руке юный вершник. Узкощечное личико вершника было сухим и надменным и выражало ту самую власть, от которой сейчас зависел Ефимко.

- Хочешь жить?

- Не хочу, - ответил Еживин.

Вершник ему не поверил.

- Ты кто?

Еживин с насмешкой:

- Пихто!

- Ах ты, мурло!

Ефимко пригнулся под саблей, сверкнувшей возле его головы, и, схватив руку с крыжем, навалился всем туловом на нее. Всадник съехал с седла, опрокидываясь на землю.

Убивать Еживин его не стал. Заскочил на белого с грязной гривой коня и помчался к реке.

До берега Сухоны было еще далеко, а Ефимко уже разобрал стук копыт за спиной. «Авось и уйду», - подумал, влетая в створ приоткрытых во-

рот, выходявших к реке. Однако конь был хромой и скакал многим тише, чем те, которые сзади.

- Не стреляй! - раздалось за спиной. - Живьем заберем!

«Ну уж нет, - покривился Еживин - Живьем не получите!»

Берег, где змеилась тропа, был крутой, и Еживин, спустившись к реке, что есть мочи ударил коня по бокам. Конь заржал, даже встал на дыбы. Но почувствовал снова пинки и, взъярившись, как слепой, поскакал на плоты. А с плотов с диким храпом - в реку!

Треск мостков. Холм воды на взметнувшейся гриве коня. И оборванная уздечка.

- Ведь уйдет! Ведь уйдет! - завопила погоня.

Отвалился Ефимко от крупа коня. Погрузился в реку. И поплыл под водой. Синева. Кое-где покрытые слизью и зеленью гладкие камни. И огромным куриным желтком проползавшее в омут реки матерое солнце.

Послышался скрип уключин и буханье весел. «За мной, - догадался Еживин, - хотят меня потопить...»

Через пару минут, когда воздух иссяк и удушье схватило, как смерть, за горло, он метнулся вверх, угадав под самую лодку. Тут и яростный бульк, с каким три пики нырнули в реку. Одна из них соскребнула кожу с плеча. Ефимко, не чувствуя боли, выпрыгнул из воды, ухватился руками за борт. Лодка тут же перевернулась, и ловцы, как один, громыхнулись в реку. Никого топить Еживин не стал. Пусть спасаются, кто как может.

Он поплыл к пологому берегу, не оглядываясь назад. Забирала угрюмая думка: где Настасья? Где сын? Всяко лодка не подвела, и они успели выплыть из этого ада?

Охолонуло сердце Ефимки, когда он нечаянно обернулся и увидел горящий Гleden. Никогда он не видел такого пожара. Языки огня прошивали не только крыши, но и плывшие где-то над ними ленивые облака, отчего казалось, горит и небо.

Выбредая на берег, Еживин не обнаружил на теле своем ни берестовых на босу ногу ступней, ни рубахи, ни

даже портов. Слишком долго он бился с рекой, и она его пощадила, но взамен за это взяла одежду. Пришлось задержаться возле березы, сдернуть с нее пластину коры и, изладив цилиндр, отправиться в нем глядя на ночь к семье.

Ходко плыла по бурлящему Югу долбленка. Настасья еще и грести как следует не умела. Однако гребла. А крохотный Тонька лежал, преспокойно посапывая, на сене.

Журчащие воды толкали лодку так торопливо, точно спасали ее от беды. В Сухону лодка влетела, когда за стенами резко заржал подстреленный конь. А потом началось. Летящие факелы. Дым. А над дымом, как голова дракона из сказки, в небо взвился огненный смерч. «Батюшки-светы! Как-то там у меня Ефимко? - Настасья бросила весла. - Хоть бы с ним ничего... Хоть бы... Хоть бы...»

Она посмотрела на сына. Потом на дым, сквозь который карабкалось солнце, такое печальное, без сияния и лучей, что стало ей жутко. И она, оттолкнувшись от мелководья, направила лодку к той стороне, где белел надбережный песок, а за ним зеленели березы и елки.

Дальше все она делала машинально. Переплыла реку. Втащила долбленку на отмель. Взяла непроснувшегося Антошу и тропой вдоль реки пошла к устюгскому детинцу.

Дом Водокрасовых встретил Настасью распахнутой дверью, в которой стояли Мария с Кузьмой. Оба взволнованы не на шутку.

- Бедовская девка! - сказала Мария. - Да еще с малышом! А как добрались?
- На лодке.
- А где-ка Ефимко?
- Не знаю...

Настасья сама не своя. И Мария не лучше. Забрав проснувшегося Антошу, ушли на берег, где собирались кучками устюжане.

Пожар был лют. Каждый, кто приходил на устюгский берег, мог видеть не только пылающие дома, терема и башни, но и злоеющее устье двух рек,

отражавшее огненную стихию. Казалось, горела вода и где-то над ней метались красные птицы, которым некуда было уже и лететь.

Возвратились домой. Скорбные, как с похорон. Настасья глядеть ни на что не может. И разговаривать тоже невмочь. Прилегла вничь на лавку. И Антоша вничь с ней, послушный и молчаливый, точно чувствовал мамину горе и не смел ей мешать.

Тишина была в доме и ночью, и вдруг по крыльцу - еле слышимые шаги. Дверь открылась. А в ней опоясанный белой берестой - голый Ефимко.

Ах, как споро вскочила Настасья! И Мария откуда-то поднялась. Разживили огонь. Смеются. И обе в голос:

- Андели! Как ты, Ефимушко? Как ты из этого пекла?

- Водой...

Слов у Ежовина нету. Он устал. Он расстроган. Он рад. Сестра нашла для него одежду. Одеваясь, взглянул удивленно на Антошу. Тот клекочет, как ястребенок, и бочком, босиком неуверенно, но азартно одолевает дорогу от лавки до печки, возле которой стоит улыбающийся отец.

И опять, как два года назад, стали жить две семьи под единой крышей. Тесновато, неловко и неудобно. Но что же делать? Возвращаться в Гleden нельзя. Всё сгорело - и сам детинец, и слобода, и соседние с городом деревеньки. Предстояло налаживать новую жизнь.

Дня не прошло, а Ефимко уже решился. Приказал самому себе: «Буду ставить свой дом!»

И не стало времени у него. То он валит деревья в лесу. То кряжует их. То вывозит бревно за бревном. То осматривает пустырь, размечая на нем фундамент.

Работы он не боялся. Потому и постановил: въехать в дом до зимы.

Помогала ему Настасья. Она даже шалашик сделала для Антоши, чтобы быть постоянно около мужа.

Лето стояло теплое. Без дождей. Настасье нравились плотничьи ра-

боты, и она, взяв топор, забиралась на угол сруба и усердно, как муж, вырубала за чашею чашу.

Антоша всегда у нее под приглядом. Коли спит в шалаше на мягкой овчине, то и сердце у мамы на месте.

Но вот раздается воинственный крик. Раздвигается полог. Антоша делает резвый шажок. Настасья с улыбкою наблюдает.

Вот он с крутой перевальцей ступает по стружкам. Одолевает их и идет к травяному загонцу, где привязанный за веревку ходит по кругу рогатый козел. Не дойдя до козла, Антоша кричит ему:

- Э-э!

Козел приближается к карапузу, подставляет бороду так, чтобы малый взял ее в руки. И Антоша берет, пропуская бороду между пальцев. Личико в эту минуту становится очень серьезным, а на губе вырастает азартный пузырь.

- По-по! - говорит, как приказывает, Антоша, что означает «Пошли!» И козел осторожно, дабы невзначай его маленький друг не споткнулся, направляется по траве, увлекая с собой и Антошу. У колоды с водой опускает рогатую голову, и Антоша плюхается в траву, наблюдая за тем, как животное пьет.

Напился козел. Повернулся к Антоше. Глядит с ожиданием и надеждой.

Малый понял его. Быстро-быстро встает. Подступает к вкопанной в землю маленькой табуретке, на которой - горбушка хлеба. Берет ее - и обратно к козлу.

- На-а!

И козел, деликатно забрав зубами горбушку, благодарно и важно трясет головой.

Настасья спускается к сыну.

- Вот и ладно, - гладит малого по головке. - Покормил козелка. А теперя и сам покормисе. Будешь?

- Бу, - соглашается сын.

Не торопит Бог дни. Идут себе и идут. И, конечно, он знает, что живущему на земле, дабы быть устойчивым

в этом мире, надо много уметь и иметь.

Еживин надеялся на себя, на свой опыт, терпение и сноровку. Потому и построил свой дом с русской печью, широкими лавками, сенником и двором для лошади и коровы. Это потом он будет достраивать баню, амбар, дровяник, изгородь и ворота. А сейчас, по декабрьской поре, за белым, пахнущим липой столом он окинет взглядом родню и скажет:

- Абы дом стоял, яко крепость! Долго-долго стоял!

- Хорошо, кабы не было войн! - возмечтала Мария.

И Кузьма возмечтал:

- И жилося бы нам богато!

И Настасья в том же ключе:

- И сердце бы было всегда на месте...

А когда ендова поплыла по застолю вторично, Еживин встал и уставился взглядом на поставец, где стояла, светясь ликом Бога, большая икона, и выразил голосом то, что держал постоянно в душе:

- Дай, Господь, безбоязненной жизни лет хотя бы на сто!

- Это самое то! - улыбнулась Настасья.

А Мария словно черту подвела:

- Сотню лет бестревожицы и покоя...

Сотню лет. Человеку так мало надо. И чего бы не дать? И ведь дал бы, наверное, Бог. Да не все от него зависит.

Не хотите ли лет двенадцать?

Кривыми дорогами шел Дмитрий Юрьевич от престольной Москвы, где его не признали великим князем. Шел Шемяка и через Галич, около стен которого был разгромлен войсками Василия Темного. И после кружения по северным городам вышел к Сухоне, чтоб отправиться вниз по реке на дощаниках и насадах.

Устюг не выставил против него щита, полагая, что Дмитрий и есть настоящий правитель русского государства. Дабы заставить людей уверовать в это, он расправ не чинил. Требовал лишь одного - чтобы его ве-

личали всея Руси князем.

Нашлись, однако, горячие головы, которые называли его душегубцем и призывали посадских людей к отпору. Приспешники Дмитрия выявили таких, и вскоре они предстали перед Шемякой.

Дмитрий Юрьевич восседал на высоком сухонском берегу в березовом кресле, специально вынесенном на волю из воеводских палат. Широколицый, в парадном кафтане, высоких кожаных сапогах, выглядел он усталым и недовольным.

Внизу шагах в пяти от Шемяки конвойные подводили связанных за руки устюжан. Пять человек: Долгошеин, Лузсков, Жугулев, Водокрасов, Еживин. Вопрос у Шемяки один:

- Признаете меня всея Руси князем?

Давид Долгошеин:

- Не признаю.

Жугулев:

- Вором тебя признаю.

Ондрейко Лузсков:

- Да пошел ты...

Шемяка приоживился, когда огромный, схожий с медведем, еще не старый, но и не первой молодости громада замешкался, застывая, как идол.

- Ну, а ты? - подторопил его князь.

Это было невероятно. Будто и не было в грузном теле Кузьмы Водокрасова полновесных семи пудов. Веером, уронив ниже плеч лобатую голову, на сгибающихся ногах подпорхнул к Шемяке и бросился на колени:

- Государь! Бес попутал! Сам не пойму, почему тебя ворогом называл! Не казни! Буду служить тебе, яко преданный пёс! - И, дрожа, стал нырять головой, лобызая у князя колени.

- Не усердствуй, - сказал Шемяка, - вон туда становись, - показал на стоявших чуть в стороне троих устюжан, молчаливых и важных, всем своим видом дававших понять, что они из высоких и не каждый с ними может быть рядом.

- Эй вы! - повелел им Шемяка. - Развяжите его, - кивнул на Кузьму.

Тут предстал перед князем последний из обреченных - большеурукый, с крутыми плечами детина в грубом ру-

бище и коротких берестовых сапогах. Детина смотрел на него, не мигая.

- Хорошо глядишь! - похвалил его князь. - Глаз не прячешь. Я, пожалуй, холоп, и тебя на службу возьму. Хочешь?

- Нет! - отказался Еживин.

- Почему? - удивился Шемяка.

- Ты такой же, как брат твой княже Василий.

- Ну и что?

- А то, что вы по колено в крови.

- Сгинь! - Шемяка дернул десницей, словно подписывая бумагу, которой отказывают во всём. И копы стражников закачались, притрагиваясь к Ефимке, чтоб поставить его в затылок к таким же, как он.

Поднявшись с кресла, Шемяка, не глядя ни на кого, приказал:

- В Сухону их!

Потом повернулся к кучке чопорных устюжан, кто поклялся служить ему верой и правдой.

Четыре шеи вытянулось навстречу.

Шемяка выбрал самую толстую. Поманил к себе пальцем.

Водокрасов - сама покорность - тут и есть возле княжеских ног.

- Старшим тебя назначаю! - сказал Шемяка. - Будешь их, - показал глазами на подарестных, - топить, как щенят.

Водокрасов вытянулся колом, словно гвоздь проглотил, до того ему стало колко и неприятно. Однако оправился, взял себя в руки.

- Как это делать - учить не надо?

- Не надо, - ответил Кузьма.

- Жизнь за жизнь, - добавил Шемяка, - ежли кто заартачится - тоже в воду!

Был прохладный июльский вечер. Копьеносцы, одетые в летние, без рукавов доломаны, погнали плененных к реке, заводя на мостки.

Мостки, с которых полощут белье, далеко уходили в реку. Слева от них - скопление лодок, справа - дощаник, впереди - голубеющий омут реки.

Голос Шемяки как гром среди ясного неба:

- В последний раз спрашиваю, холопы: признаете меня своим князем?

В ответ - тишина. А в ней - смирный выплеск воды, набегающей на дощаник, мостки и лодки.

Шемяка нахмурился и неспешно прошелся глазами по возившимся с камнями устюжанам, среди которых снова отметил Кузьму, прокричав ему, как собрату:

- Приступай!

Водокрасова не узнать. Минуту назад был сама оробелость, а теперь - суровее всех суровых. Даже троица устюжан, уже не чепорных и не чинных, а расторопных и дюже смирных, с кем он вместе ворочал в суплесках камни, разглядела в нем страшного человека.

- Ежли кто что не так - утоплю! - сказал он им между делом.

И ему поверили, словно черту.

Камни были тяжелые, потому поднимали их по троёнке и, согнувшись, тащили к мосткам. Здесь Кузьма, как артельный хозяин, распределял, кому, где и за кем находится. Распределив, брал свисавшую с камня веревку, делал петлю и ловким взмахом кидал ее так, что петля сама садилась на шею.

Стражники шли по мосткам, сопровождая несчастных. Двое стражников, двое копий, упиравшихся в спины людей, ступавших друг по за другом за собственной смертью.

Плеск.

Плеск...

Плеск...

Еживин ступал последним. Сердце болело. Не за себя - за сына и за Настасью. Как они там? Без него? Ведь столько обидчиков в этом мире... И вот он почувствовал, как, прорывая рубаху, в него полезло одно, а потом и второе копьё. Не зная зачем, он вдохнул, наполняя легкие воздухом до отказа, и, увлекаемый камнем, рухнул в омут вниз головой.

Дно имело уклон. И камень, коснувшись его, покатился, ломая Ефимкову шею. Рядом, как водолазы, висели, вздымая вверх ноги, его товарищи по несчастью. Еживин учуял веревку, которая стала сползать куда-то к затылку. Он только и сделал, что клюнул вниз головой, и камень свалился. «К лодкам!» - выблеснуло в сознании,

и Ефимко поспешливо оттолкнулся и поплыл, работая лишь ногами. Перевернувшись спиной ко дну, увидел смоленные днища. «Не шуметь!» - повелел самому себе и еще потерпел, проплывая к окну двух неплотно стоявших друг к другу лодок. Здесь и вынырнул. Здесь, где был никому он не виден, и решил переждать. Здесь и узел, сидевший зверьком на руках за спиной, попытался сорвать.

Ночь была звездной, но без луны. Мрачно-темнела река, неся на себе отраженное небо. Берег как бы попятился, отступая, когда Ефимко выбрался из воды. Веревошный узел он развалил, растерев его о долбленку, и теперь его руки были свободны. Пригнувшись, как тайный лазутчик, Еживин шел, поднимаясь по склону, то и дело прячась под листовым свесом берез.

Пробравшись сквозь взлом в крепостной стене, он направился вдоль теремов, где обитали служилые люди. Мертвая тишина. Казалось, имела она глаза и глядела из каждого ворот и каждой калитки.

Возле дома сестры, выходящего расписными воротами на дорогу, Еживин почувствовал, что за ним наблюдают. Глядят от крыльца, где темнел силуэт неподвижного человека. «Неужто Кузьма?» - подумал Ефимко и тут же свернул на дворовый лужок.

Так и есть. При виде Ефимки Кузьма спустился с крыльца.

Еживин остановился. Сузил с ненавистью глаза.

- И чего мы теперь будем делать?

Водокрасов сказал:

- Я не видел тебя.

- А коли бы видел?

- Завтре и стал бы с тобой разбираться.

- Почему это завтра? Почему это ты? - не понял Ефимко.

- С седнишня дня я в городе воевода!

Не поверил Еживин:

- Берешь на храпок?

- Дмитрий Юрьевич повелел!

- Этот изменник?

- Не изменник, а князь всей Руси!

- Вот те на! - усмехнулся Ефимко.

Водокрасов угрозно и строго, слово было уже в должности воеводы:

- Хочешь жить - исчезай!

- А ежели не исчезну?

- Тогда и жить тебе до утра.

- До утра?

Кузьма объяснил:

- Живым Шемяка тебя не оставит.

Я же тебя к нему и сведу. Так положено мне по службе. Исчезай, говорю!

Еживин мешкотно развернулся. И пошел, как с великого поруганья.

Вот и улица Голая. Маховые качели. Там за малой часовней - копанный пруд, а за ним огород и красивый, с древесным конем на охлупне, дом.

Он ступил на крыльцо.

Дома его не ждали. Настасья глядела из темноты, как он тихо вошел. И Антоша глядел, не веря тому, что видит живого отца. Ведь они были там. Правда, близко не подпускали, так они, как и многие устюжане, затаились в стене детинца и видели всё. Оттого и не верили в то, что он здесь. Им казалось, что это мереск. Настоящий Ефимко сейчас в воде. А этот? Этот - ненастоящий. Он мерещится им. Пройдет минута - и он растает. Пропадет, как виденье. И снова к их сердцу подхлынет необоримая скорбь-тоска.

- Чу-у! - Ефимко раскинул руки, давая понять, что все-таки он не мертвый и что бояться его ни к чему.

- Тятя! - с радостным криком бросился сын, обнимая отца за шею.

А Настасья, будто подстреленная стрелой, соскочила и тут же села, не найдя в ногах сил.

- А мы-то! - заговорила она, захлебываясь от радости и от слез. - Мы-то с Антошей тебя уже было похоронили. Страсти какие! Как и в уме устоять!

- Ничего, - улыбнулся Ефимко. - Все образуется. Все будет ладно.

- Тятя! Тятя! - это сынок. Долговязый, тонкий, как вересинка, весь не в меру ласковый и горячий. - Тебе надо спастись! Бежать! Коль останешься дома, то схватят!

На лице у Антоши - тревога. Говорит, словно видит все то, что сделают завтра с отцом, если тот не покинет свой дом.

- Как скажете, так и будет, - вздыхает Ефимко.

И Настасья вздыхает:

- Так, Ефимушко, мы и скажем, что надо тебе уходить.

- Да, пожалуй, - Еживин садится на лавку. - Только вы-то как тут? Без меня?

- Ты о нас не тужи! - заявляет Антон. Заявляет так убежденно, что не верить ему нельзя. - Я не маленький! Маму нашу в обиду не дам!

Еживин смотрит на сына. Видит в его недовыросшем, спрятанном под натальной рубашечкой теле, жидковатых руках и лице с ожидающими глазами что-то готовное, жертвенное, родное, в то же время и жалкое, как у всякого отрока, взявшего на себя обязательство не по силам.

Приказав себе улыбнуться, Еживин поднялся с лавки и обещающим голосом, словно знал наперед свои дни:

- Всё равно ворочусь!

Он ушел належке, взяв с собой лишь кресало, охотничий нож и немного еды.

- Ну, куда я? - спросил самого себя, как только выбрался за калитку и направился переулками к реке.

Там в волокнах тумана среди напольшей темноты разглядел плоскодонку. Сел в нее и поплыл, отпихиваясь шестом.

Где-то рядом, укрытый предутренней мглой, молчаливо таился город, откуда Еживин бежал, не простившись толком с семьей.

Ночь редела, и в тишине далеко-далеко, как на самом краю земли, беспокоя окрестность, закрывала утка. «Ничего, - стиснул зубы Ефимко, - как-нибудь...». И, дивясь, уловил вдруг в себе сквозь растерянность и тоску какое-то светлое облегчение, словно душа его, вырвавшись за предел человеческого страдания, ничего не нашла для себя в том далеком пространстве и вернулась назад. И стало Еживину легче и проще, как гонимому беглецу, который всеми своими костями почувствовал, что, куда бы он ни уплыл, ни сгинул и ни девался, так и так ему быть на возвратном пути, что петляет по белому свету, но ведет и выводит домой.